

Первая речь.

Предварительные напоминания и обозрение целого

Речи, которые я теперь начинаю, объявлены мною как продолжение лекций, читанных мною три года назад здесь, на этом самом месте, и изданных под заглавием: «Основные черты современной эпохи». В упомянутых лекциях я показал, что наше время находится в третьем основном разделе совокупного мирового времени, в каковом разделе мотивом всех живых движений и побуждений оказывается сугубо чувственная корысть; что это время вполне понимает и постигает себя самое также лишь под условием названного мотива как единственно возможного; и что благодаря этому ясному постижению своей сущности оно глубоко укоренено и прочно основано в этой своей живой сущности⁸.

У нас, более нежели в какую-нибудь эпоху с тех самых пор как существует мировая история, время идет вперед гигантскими шагами. За три года, прошедшие с тех пор, как я дал это истолкование текущего отрезка мирового времени, этот отрезок где-то совершенно истек и завершился. Где-то эгоизм, через полное свое развитие, уничтожил сам себя, утратив благодаря такому развитию свою самость и ее самостоятельность; и ему – коль скоро он по доброй воле не желал полагать себе никакой иной цели, кроме себя самого – внешняя сила навязала эту иную и чуждую цель. Кто однажды взялся толковать свое время, тот должен сопровождать своим истолкованием и его дальнейший ход, если оно получает этот дальнейший ход. И поэтому на меня ложится обязанность – перед той же самой публикой, пред которой я назвал нечто настоящим временем, признать его прошедшим, после того как оно перестало уже быть настоящим.

То, что утратило свою самостоятельность, утратило в то же время и способность вмешиваться в течение времени и свободно определять его содержание; для него, если оно задержится в этом состоянии, его время и само оно в этом своем времени совершается чуждой властью, которая повелевает его судьбой; отныне у него уже вовсе нет более своего собственного времени, но оно считает года по событиям и отрезкам истории чужих народностей и царств. Из этого состояния, в котором весь его прежний мир неподвластен его самодетельному вмешательству и в этом мире ему остается только слава послушания, оно могло бы подняться единственно лишь при условии, что перед ним открылся бы некий новый мир, создав который, оно начало бы новый и свой собственный отрезок во времени, и

развитие которого наполнило бы его совершенно. Однако, поскольку уж оно подчинено чуждой власти, этот новый мир должен быть таким, чтобы он остался незаметен для этой власти и никоим образом не возбуждал бы в ней ревности; и даже, чтобы собственная выгода побуждала эту власть не чинить никаких препятствий устроению этого нового мира. И если бы для поколения, утратившего свою прежнюю самость и свое прежнее время и прежний мир, существовал таковой мир, как средство порождения новой самости и нового времени, то для всестороннего истолкования даже и возможного времени надлежало бы указать на этот мир с таким именно свойствами.

И вот, что касается меня, я полагаю, что такой мир существует; и цель этих речей в том и заключается, чтобы доказать Вам существование и подлинного хозяина этого мира, представить Вашим глазам живой образ этого мира и указать средства для его созидания. А потому эти речи станут таким образом продолжением читанных мною некогда лекций о том времени, которое было тогда настоящим, ибо они раскроют перед Вами новую эпоху, которая может и должна непосредственно последовать за разрушением, чуждою властью, царства эгоизма.

Однако прежде, чем я приступлю к этому делу, я вынужден просить Вас предположить (так, чтобы это ни на минуту не ускользнуло от Вашего внимания) и согласиться со мною, там и постольку, где и поскольку это необходимо, в следующих пунктах:

1). Я говорю для немцев вообще, о немцах вообще, не признавая, но решительно отставляя в сторону и пренебрегая всеми теми разделяющими различиями, которые злосчастными событиями созданы были в течение веков в единой нации. Хотя Вы, почтенные слушатели, для моих плотских глаз оказываетесь первыми и непосредственными представителями, в которых воплощены для меня любезные мне национальные черты немцев, и зримым фокусом, в котором возгорается пламя моей речи; но дух мой собирает вокруг себя образованную часть всей немецкой нации, из всех тех земель, по которым она рассеяна, учитывает и понимает положение и обстоятельства, общие для всех нас, и желает, чтобы частица той живой силы, с которой охватят Вас, быть может, эти речи, осталась и в немом отпечатке, который только и попадет на глаза здесь отсутствующим, и дышала в нем, и воспламеняла повсюду души немцев к решимости и к действию. Я сказал: «только о немцах и для немцев вообще». В свое время мы покажем, что любое другое обозначение единства или национальная связь либо не имела в себе никогда истины и значения, либо же, если бы она и имела в себе истину, эти объединяющие точки уничтожены и отняты у нас нашим нынешним положением – и им никогда не дано возвратиться; и что только общая основная черта нашей немецкости позволит нам предотвратить гибель нашей нации в слиянии ее с границей, и что лишь в ней мы сможем вновь обрести самость, покоящуюся лишь на себе самой и решительно исключаящую всякую зависимость. И когда мы постигнем это последнее обстоятельство, для нас совершенно исчезнет и мнимое противоречие этого утверждения другим обязанностям и почитаемым священными задачам – противоречие, которое теперь, может быть, пугает некоторых из вас.

И поэтому, раз я говорю только о немцах вообще, кое-что из того, что не относится непосредственно к собравшимся здесь людям, я выскажу как то, что верно все-таки и для нас, и так же точно другое, справедливое прежде всего только для нас, я выскажу как то,

что верно для всех немцев. В духе, изливанием которого являются эти речи, я вижу прочно сросшееся единство, где ни один член не считает судьбу какого-нибудь другого члена чуждой для себя, единство, которое должно и обязано возникнуть, если нам не суждено до конца погибнуть, – вижу это единство уже возникшим, законченным и предстоящим нашему взору как действительность.

2). Я предполагаю не таких немецких слушателей, которые предаются всецело всем существом своим чувству боли от пережитой утраты, и довольны собою в этой своей боли и пробавляются своей безутешностью, и думают примириться в этом чувстве с обращенным к ним призывом к действию; но таких слушателей, которые уже возвысились или, по крайней мере, способны возвыситься даже через эту справедливую боль до ясной сознательности и рассуждения. Эта боль мне знакома, я чувствовал ее подобно всякому, я чту ее; тупость, что бывает довольна, если находит себе пищу и питье и не испытывает физической боли, и для которой честь, свобода, самостоятельность суть имена без смысла, неспособна ощущать ее. Но и эта боль является в нас единственно для того, чтобы побуждать нас к размышлению, решимости и действию; не достигая этой своей конечной цели, она лишает нас способности осмысливать жизнь и всех тех сил, что еще остаются у нас, и тем усугубляет наши бедствия; ибо, кроме того, как свидетельство нашей косности и трусости, она служит наглядным доказательством, что наши бедствия достались нам по заслугам. Но я отнюдь не собираюсь возвысить Вас над этой болью, обнадежив помощью, которая придет к нам извне, и сославшись на всякого рода возможные события и перемены, которые, положим, могли бы произойти с течением времени: Ибо, даже если бы этот образ мысли, который предпочитает витать в непрочном мире возможностей, но не опираться на необходимость, и который хочет быть обязан своим спасением слепому случаю, но не себе самому, не обнаруживал уже сам по себе самого предосудительного легкомыслия и глубочайшего презрения к себе (как это и есть в самом деле), то, кроме того, все подобные утешения и указания еще и совершенно неприменимы к нашему нынешнему положению. Можно строго логически доказать (и мы в свое время это докажем), что никакой человек, никакой бог, и никакое событие из всех событий, находящихся в пределах возможного, не сможет помочь нам, но что, если нужна нам помощь, только мы сами должны помочь себе. Скорее, я попытаюсь возвысить Вас над этим чувством боли через ясное понимание нашего положения, силы, которая еще остается у нас, и средств нашего спасения. Поэтому я, конечно, потребую от Вас известной меры размышления, известной самодеятельности и некоторой самоотверженности, и потому рассчитываю на таких слушателей, от которых всего этого ожидать возможно. Между прочим, все требуемое мною легко и не предполагает сколько-нибудь большей силы в человеке, чем та, какую, по-моему, вполне можно признать возможной в нашу эпоху; что же до опасности, то опасности здесь вовсе никакой нет.

3). Собираясь образовать в немцах как таковых ясное понимание их настоящего положения, я предполагаю слушателей, которые склонны смотреть на предметы такого рода собственными глазами, а вовсе не таких, которые находят более удобным дать подсунуть себе при рассмотрении этих предметов чужой иностранный бинокль, либо нарочно рассчитанный на искажение, либо же по самой природе своей имеющий иную точку зрения или меньшую резкость, и потому отнюдь не пригодный для немецких глаз. Далее, я предполагаю, что эти слушатели, рассматривая предмет собственными глазами, имеют достаточно смелости, чтобы честно взглянуть на то, что есть, и честно сознаться себе, что

именно они видят. И что они или уже победили, или хотя бы способны победить в себе часто проявляющуюся склонность вводить себя в обман относительно своих собственных дел и рисовать себе не столь безотрадную картину этих дел, как та, которой требует истина. Эта склонность есть трусливое бегство от своих собственных мыслей и детский ум, который мнимо полагает, что если он не видит своего бедствия или по крайней мере не сознается сам себе в том, что видит его, то тем самым его бедствие уничтожается и в самой действительности, как оно уже уничтожено в его мысли. Напротив, мужественная смелость состоит в том, чтобы твердо смотреть в глаза беде, заставляя ее выдерживать наш напор, спокойно, хладнокровно и свободно проникать в нее взглядом и разлагать ее на составляющие ее части. К тому же, благодаря такому ясному пониманию, мы становимся хозяевами своего бедственного положения и уверенным шагом движемся в борьбе со злом, потому что, не теряя из виду целое в каждой его части, мы всегда знаем, где мы находимся, и, однажды достигнув ясности, уверены в победе своего дела; а тот, другой, вслепую и на ощупь бродит, погрузившись в мечтания, без прочной путеводной нити и твердой уверенности.

И почему же мы должны бояться этой ясности? Беда не становится меньше оттого, что мы о ней не знаем, или больше оттого, что мы познаем ее; благодаря последнему она просто станет поправимой; а вину здесь вовсе не следовало бы выставлять на вид. Бичуй косность и себялюбие суровой обвинительной речью, язвительной насмешкой, разящим презрением, и если не можешь добиться от них большего, побуди их по крайней мере к ненависти и ожесточению против самого обвинителя – это все-таки тоже сильное душевное движение, – до тех пор, пока не исполнится мера бедствий как необходимого последствия их и пока еще могут они ожидать себе, вместо исправления, спасения или послаблений. Но когда эти бедствия исполнятся уже настолько, что лишат нас и возможности грешить далее таким же образом, то порицание грехов, которых мы уже не можем более совершать, становится бессмысленным, и имеет вид злорадства; и наше рассуждение в таком случае падает из области учения о нравах в область истории, для которой свобода осталась в прошлом, и которая рассматривает случившееся как необходимый результат предшествовавших событий. Для наших речей остается возможным только это последнее воззрение на современность, и поэтому мы ни разу не прибегнем к другому способу ее рассмотрения.

Итак, я предполагаю в Вас этот образ мысли: представление о себе самом как о немце вообще, не скованное даже болью утраты, стремление видеть истину и смело смотреть ей в лицо. На этот образ мысли рассчитывает каждое слово, которое я здесь произнесу, и если кто-нибудь явился в это собрание с другим воззрением, то все неприятные ощущения, которые вызовет у него услышанное здесь, он должен будет приписать единственно лишь себе самому. Скажем это теперь раз навсегда – и на том покончим; а теперь я перейду к другому делу, и представлю вам в общем обзоре основное содержание всех последующих речей.

Где-то, – сказал я в начале речи. – эгоизм, вполне развившись, уничтожил сам себя, утратив тем самым свою самость и способность самостоятельно полагать себе цели. Это, произошедшее ныне, уничтожение эгоизма составляло указанное мною дальнейшее развитие времени, и совершенно новое событие в этом времени, которое, по моему убеждению, делало для меня возможным, а равно и необходимым продолжить данное мною

некогда описание этого времени. Это уничтожение, стало быть, есть наше собственное настоящее, на которое должна непосредственно опираться наша новая жизнь в новом мире, существование которого я также при этом утверждал. Поэтому оно должно составлять подлинный исходный пункт моих речей; и прежде всего мне надлежит теперь показать, как и почему подобное уничтожение эгоизма необходимо последует из его наивысшего развития.

Эгоизм бывает развит до наивысшей своей степени, когда, покорив себе сперва всех правителей, за незначительными исключениями, он от этих правителей овладевает и всей массой управляемых и становится единственным влечением их жизни. Подобное правление, прежде всего, во внешних своих отношениях начинает пренебрегать теми узами, которыми его собственная безопасность привязана к безопасности других государств, отрекается от целого, один из членов которого составляет, единственно лишь затем, чтобы его не потревожили в его неподвижном покое, и предается печальному заблуждению эгоизма, будто государство пребывает в мире, лишь до тех пор, пока никто не нападает на его собственные границы. Затем является в нем та слабость рук, держащих бразды государственного управления, которая величает себя иностранным именем гуманности, либеральности и популярности, но которую по-немецки вернее будет назвать дряблостью воли и недостойной манерой.

Если он овладеет и управляемыми, сказал я сейчас. Народ вполне может быть испорчен, т.е. эгоистичен (ибо эгоизм есть корень всякой иной нравственной порчи), – и при этом, однако, не только существовать, но совершать даже блестящие по наружности деяния, если только правительство в нем не будет так же точно испорчено; это правительство может даже действовать в отношении с другими вероломно, забыв и честь, и долг, если только внутри страны оно найдет в себе смелость натянуть суровой рукой бразды правления и заставить подданных еще больше бояться себя. Но где соединится все вышеназванное, там общежитие погибнет при первом же серьезном покушении на него, и как само оно вероломно отделилось от того тела, членом которого было, так теперь члены его, не сдерживаемые никаким страхом перед этим правительством и побуждаемые более сильным страхом перед чужими, отделятся от него с таким же вероломством, и разойдутся каждый в свою сторону. Тогда их, стоящих отныне порознь, охватит еще более сильный страх, и они щедрою рукой и с принужденно-веселой миной на лице отдадут врагу то, что скупой и крайне неохотно давали они защитнику отечества; пока впоследствии и правители, всеми преданные и оставленные, не окажутся вынуждены купить свое существование ценою подчинения и послушания чужим планам и целям; а впоследствии и те, кто бросил оружие в борьбе за отечество, под чужим знаменем научатся храбро действовать этим оружием против своего отечества. Так и получается, что эгоизм уничтожается наивысшим своим развитием, и тем, кто по доброй воле не хотел поставить пред собою никакой иной цели, кроме себя самих, эту иную цель навязывает чуждая сила.

Никакая нация, опустившаяся до такого состояния зависимости, не может подняться из этого состояния с помощью обычных или прежде применявшихся средств. Если сопротивление ее было бесплодно, когда она была еще в полной своей силе, то что же может дать сопротивление теперь, когда она лишилась большей части своих сил? То, что могло бы помочь ей прежде, – а именно, если бы ее правительство властно и строго

натянуло бразды правления, – то бесполезно теперь, когда бразды эти только лишь по видимости остаются в его руке, и саму эту руку правительства ведет и направляет чужая рука. На саму себя подобная нация уже не может более рассчитывать, и так же точно не может она рассчитывать на победителя. Этот победитель наверное будет так же безрассуден и так же уныло труслив, какова была сама нация, если он не удержит завоеванных им преимуществ и не станет всеми способами утверждать их за собою. А если бы он с течением времени и стал все же столь безрассуден и труслив, то хотя и погиб бы в этом случае так же точно, как и мы, но гибель его была бы не на пользу нам: Он стал бы добычей нового победителя, а мы стали бы неким самоочевидным и малозначительным придатком к этой добыче. Если для опустившейся таким образом нации все же возможно спасение, то это спасение должно совершиться с помощью совершенно нового, никогда еще доселе не употреблявшегося средства, – посредством созидания совершенно нового порядка вещей. Давайте же посмотрим, что в прежнем порядке вещей было причиной, в силу которой этому порядку необходимо должен был однажды прийти конец, и тогда, в противоположность этой причине, мы найдем то новое звено, которое нужно внести в наше время, чтобы благодаря ему опустившаяся нация воспрянула к новой жизни. Отыскивая эту причину, мы найдем, что во всех до сих пор бывших формах государственного устройства участие индивида в жизни целого было связано с участием индивида к себе самому такими узами, которые как-то совершенно разорвались, так что индивид уже вовсе не проявлял участия к жизни целого, – узами страха и надежды на дела индивида в связи с судьбою целого, в будущей и в настоящей жизни. Просвещение рассудка, занятого лишь чувственными расчетами – вот сила, которая уничтожила связь настоящей жизни с будущей в религии в то же время признала обманчивыми миражами и другие дополняющие и замещающие средства нравственного образа мысли, как то, например, честолюбие и национальную честь. Слабость правительств – вот что уничтожило боязнь за успех дел индивида в связи с его поведением в отношении целого (даже в отношении настоящей жизни), оттого что забвение своего долга нередко оставалось безнаказанным, и так же точно сделало бессильной надежду, оттого что удовлетворяли эту надежду слишком часто по совершенно иным правилам и мотивам, вовсе не принимая во внимание заслуги индивида перед целым. Именно такого рода связи почему-то совершенно разорвались, а от разрыва их разрушилось и все общежитие.

Тем не менее победитель может отныне делать со всем усердием то, что он только и может делать, а именно, вновь прилаживать и усиливать последнюю частицу связующей людей среды – страх и надежду за свою настоящую жизнь. Но это поможет только ему, а отнюдь не нам: Ибо, если только он понимает, в чем состоит его выгода, он соединит в эту обновленную связь прежде всего только дела, важные для него, а нашу пользу лишь постольку, поскольку для него самого будет важно сохранить нас, как средство для достижения его целей. Для настолько падшей нации страх и надежда уже не существуют, потому что бразды руководства нацией выпали у нее из рук, и хотя ей самой есть чего бояться и на что надеяться, но ее никто уже более не боится и никто на нее не надеется; и ей не остается более ничего, как только найти совершенно иное и новое связующее средство, стоящее выше страха и выше надежды, чтобы важные цели своей целокупности поставить в связь с участием каждого индивида в ней к своей собственной судьбе.

По ту сторону чувственного мотива страха и надежды находится – и к нему на первых порах примыкает – духовный мотив нравственного одобрения или неодобрения и высший аффект благорасположения или отвращения к нашему состоянию или состоянию других людей. Так же, как одно-единственное пятно, которое ведь не причиняет непосредственной боли нашему телу, или вид предметов, лежащих беспорядочно и как попало, все же мучит и тревожит, будто бы непосредственной болью, наш внешний глаз, привыкший к чистоте и порядку, между тем как человек, привыкший к грязи и беспорядку, чувствует себя при этом зрелище совсем неплохо; так же точно и внутренний духовный глаз человека можно образовать и приучить так, что один лишь вид путаного и беспорядочного, недостойного и бесчестного существования его самого или родственного ему племени, независимо от того, чем это грозит или что обещает его чувственному благополучию, причиняет ему внутреннее страдание, и что эта боль не оставит в покое обладателя подобного глаза – опять-таки совершенно независимо от чувственного страха или надежды, – пока он не уничтожит, насколько это в его силах, неприятное для него состояние и утвердит вместо него такое, которое одно только может ему понравиться. В душе обладателя такого глаза важные цели окружающего его целого побуждающим чувством одобрения или неодобрения неразрывно связаны с важными целями его собственной расширенной самости, которая ощущает себя лишь частью целого и для которой ее бытие может быть сносно только в любезном ей целом. А потому образование в себе такого глаза и будет надежным и единственным средством, которое остается у нации, утратившей свою самостоятельность, а с нею и всякое влияние на страх и надежду в общежитии народов, для того чтобы вновь подняться в бытие из пережитого уничтожения и уверенно вручить руководству возникшего в ней нового и высшего чувства свои национальные интересы, которые со времени ее гибели неинтересны ни для людей, ни для богов. И таким образом оказывается, что средство спасения, которое я обещал указать, заключается в образовании в некоторую совершенно новую самость, до сих пор встречавшуюся, может быть, как исключение у индивидов, но никогда еще не появлявшуюся в виде самости всеобщей и национальной, и в воспитании нации, прежняя жизнь которой угасла и обратилась в придаток чужой жизни, для совершенно новой жизни, которая или останется ее исключительным достоянием, или же, если перейдет от нее к другим, останется целой и не умалится, сколь бы бесконечно ни делилась. Одним словом, я предлагаю, как единственное средство сохранить жизнь немецкой нации – совершенное изменение существовавшей до сих пор системы воспитания.

Что детям нужно давать хорошее воспитание – это достаточно часто говорят и до отвращения часто повторяют также и в нашу эпоху, и если бы мы со своей стороны тоже захотели сказать только это – это было бы ничтожно мало. Если же мы полагаем, что можем утверждать нечто иное, то нам надлежит точно и определенно исследовать, чего же собственно недоставало прежнему воспитанию, и указать, какое совершенно новое звено измененное воспитание нации должно присоединить к прежнему способу образования человека.

После же такого исследования прежнего способа воспитания приходится признать, что это воспитание прилагало все силы к тому, чтобы представить взору питомцев какой-нибудь образ религиозного, нравственного, законопослушного умонастроения и всяческого порядка и благонравия, и что порой оно усердно призывало своих питомцев отпечатлеть эти образы в своей собственной жизни; но что за редчайшими исключениями, – которые, стало быть, не

были обусловлены этим воспитанием, ибо тогда эти исключения необходимо должны были обнаружиться во всех прошедших через это образование и как некоторое правило, но были вызваны другими причинами, – за этими крайне редкими исключениями, говорю я, питомцы этого воспитания все как один следовали не этим нравственным представлениям и призывам, но побуждениям своего эгоизма, возникшего в них естественным путем и без всякого содействия воспитательного искусства; чем неопровержимо доказали, что это воспитательное искусство хотя и в силах было наполнить память несколькими словами и оборотами речи, а холодную и безучастную фантазию – несколькими смутными и бледными образами, но что оно никогда не могло однако же придать своей картине нравственного миропорядка такую живость, чтобы его питомца охватила пылкая любовь и тоска по этому миропорядку и жгучий аффект, который побуждает его воплотить этот образ в жизни и перед которым эгоизм опадает как увядшая листва; и что, стало быть, этому воспитанию далеко не удалось проникнуть к корню всякого действительного жизненного движения и побуждения и образовать его, так что этот последний, несмотря на слепое и бессильное воспитание, рос у всех его питомцев дичком, как умел, и принес добрые плоды у немногих вдохновенных Богом людей и дурные – у огромного большинства людей. Теперь нам вполне достаточно будет обозначить характер этого воспитания по его результату, и для наших целей мы можем избавить себя от кропотливого труда анализа внутренних соков и сосудов дерева, плод которого ныне вполне созрел и упал, и лежит на виду всего света, и в высшей степени ясно и понятно выражает собою внутреннюю природу своего родителя. Строго говоря, согласно этому воззрению, прежнее воспитание никоим образом не было искусством образования человека, – оно ведь и не хвалилось, что может само дать такое образование, а весьма часто добровольно признавалось в своем бессилии тем, что требовало предпослать ему некий естественный талант или гений, как условие его успеха. Такое искусство еще предстоит изобрести, и его изобретение будет подлинной задачей нового воспитания. Новое воспитание должно будет прибавить к прежнему именно это (отсутствующее в прежнем) проникновение к корням жизненных движений и побуждений, и как прежнее воспитание образовывало, самое большее, что-то одно в человеке, так это новое воспитание должно образовать самого человека, и сделать его образование отнюдь не только владением, как то делало прежнее воспитание, но элементом самой личности своего питомца.

Далее, это ограниченное в указанном смысле образование сообщалось до сих пор весьма немногочисленному меньшинству сословий, которые именно поэтому назывались образованными, а огромное большинство, на котором, собственно, и покоится общежитие, народ, – был почти совершенно забыт воспитательным искусством и предоставлен произволу слепой случайности. Мы, нашим новым воспитанием, желаем образовать немцев в такую целокупность (*Gesammtheit*), которая во всех своих членах побуждается и животворится одной и той же единой целью; если бы при этом мы опять захотели отделить образованное сословие, которое бы в таком случае жило этим, вновь утвержденным нами, мотивом нравственного одобрения, от сословия необразованного, то это последнее – коль скоро надежда и страх, которыми тогда только и можно было бы влиять на это сословие, служили бы теперь уж не за нас, но против нас, – отпало бы от нас и оказалось бы для нас совершенно потеряно. А потому нам не остается иного выбора, как нести новое образование абсолютно всему без исключения, что носит имя немца, так чтобы оно стало не образованием одного особого сословия, но образованием нации вообще как таковой, и без всякого исключения для отдельных членов ее, и чтобы в нем (а именно в образовании

сердечного благорасположения к правде) совершенно уничтожалось бы и исчезало всякое различие между сословиями, которое вполне может существовать по-прежнему в других отраслях развития; и чтобы таким образом среди нас возникло бы не воспитание народа, но самобытное немецкое национальное воспитание.

Я докажу Вам, что такое воспитательное искусство, какого мы желаем, действительно уже изобретено и применяется, так что нам нужно только принять то, что у нас уже под руками, а для этого (как я и обещал выше, говоря о предлагаемом мною средстве спасения), без сомнения, не нужно больших сил, чем те, которые справедливо будет предположить у человека в нашу эпоху. К этому обещанию я присовокупил тогда еще одно, а именно, что, что касается опасности, то опасности от нашего предложения вовсе никакой нет, потому что собственная выгода повелевающей нами власти требует скорее содействовать осуществлению нашего предложения, чем препятствовать ему. Я считаю целесообразным недвусмысленно высказаться об этом пункте уже в первой речи.

Хотя, как в древнее, так и в новое время, приемы соблазнения и нравственного унижения весьма нередко с успехом использовались как средства поддержания власти, – изобретая лживые вымыслы и искусно смешивая понятия и язык, старались очернить князей в мнении народов и народы в мнении князей, чтобы тем надежнее властвовать над ссорящимися сословиями; коварно возбуждали все мотивы суетности и корысти, чтобы сделать подданных достойными презрения и тогда топтать их ногами, так сказать, со спокойной совестью. Но правитель, конечно, допустил бы роковую ошибку, если бы захотел действовать подобным образом с нами, немцами. Общественная связь в той части границы, с которой мы столкнулись теперь, зиждется (не считая уз страха и надежды) на мотивах чести и национальной славы; но немецкая ясность уже давным-давно с неколебимой убежденностью поняла, что и то, и другое лишь пустые миражи, и что славой целой нации не исцелить ни одной раны или увечья отдельного человека. И если кто-нибудь не сообщит нам более высокого воззрения на жизнь, то мы, конечно, можем оказаться опасными проповедниками этого весьма понятного и до известной степени заманчивого учения. Даже не принимая в себя еще и этой новой порчи, мы уже по самому естественному нашему свойству бываем для других роковой добычей; только после осуществления сделанного мною выше предложения мы можем стать добычей спасительной; а потому, если только граница понимает свою выгоду, сама эта выгода ее побудит их к тому, чтобы мы стали для нее скорее последним, нежели первым.

Моя речь обращается с этим предложением, в особенности, к образованным сословиям Германии, ибо еще надеется стать понятной в первую очередь для них, и прежде всего предлагает им стать творцами в этом новом творении, и тем отчасти примирить свет с прежней их деятельностью, отчасти же заслужить себе право на жизнь в будущем. В продолжение этих речей мы увидим, что до сих пор всякий прогресс человечности в немецкой нации исходил от народа, и что великие национальные задачи всегда сообщались вначале именно народу, и он трудился над их решением и содействовал их успеху; что, следовательно, теперь впервые образованным сословиям предлагается стать во главе изначального формирования (Fortbildung) нации, и что если они действительно примут это предложение, это тоже произойдет впервые. Мы увидим, что эти сословия не могут предвидеть, на сколь долгое время в их власти будет встать во главе этого дела, ибо дело

это уже почти готово и созрело для изложения его народу, и на некоторых членах народа уже действительно исполняется, так что народ в скором времени сам сможет справиться без всякой нашей помощи; от чего для нас произойдет лишь то одно, что нынешние образованные и их потомки станут народом, а из прежнего народа выдвинется другое, более образованное сословие.

Наконец, общая цель этих речей состоит в том, чтобы внушить смелость и надежду побежденным, возвещать радость в дни глубокой печали, легко и спокойно направить людей в час величайшего угнетения. Наше время кажется подобным тени, что стоит над мертвым телом своим, из которого только что изгнало ее полчище болезней, и тоскует, и не может оторвать взгляда от прежде столь любимой своей оболочки, и в отчаянии пробует все возможные средства, чтобы вновь возвратиться в жилище заразы. Животворный воздух иного мира, куда вступила покойная, уже принял ее, и окружил ее теплым дыханием любви, и ее уже радостно приветствуют знакомые голоса сестер, и сердце ее уже ожило и распространяется во все стороны, чтобы составить в себе тот чудеснейший образ, в который ей предстоит возрасти. Но в ней нет еще чувства, чтобы ощутить эти веяния, и нет ушей, чтобы слышать эти голоса, да если бы даже и были – все равно она всем существом своим переживает теперь боль своей утраты, вместе с которой она утратила, как ей кажется, и себя самое. Что же делать с нею? Вот занялась уже и заря нового мира, и золотит вершины гор, и прообразует собою грядущий день. Я хочу, как сумею, поймать в фокус лучи этой зари и сгустить их в зеркало, где неутешное время увидело бы само себя, а увидев, поверило, что оно еще живо, и что в этом зеркале предстает перед ним его подлинное ядро и проходят перед ним в пророческих картинах многоликие явления и обличья этого его существа. В этом созерцании утонет для него, без сомнения, и образ его прежней жизни, а тогда оно сможет без лишних причитаний проводить этого мертвеца к месту его последнего упокоения.

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:17:15

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:17:56